

ДРУГОЕ ДЕТСТВО

М

ать с отцом уходят на работу в одно время, всякий раз внушая еще спящему сыну:

— На Волгу не бегай. Утонешь...

И не шляйся со всякой шпаной. За трамваи не цепляйся. Каша в одеялку закутанная, тепленькая. А в обед суп разогреешь.

Под это заботливое бормотанье еще слаще спится.

Щелканье запираемой двери и провал в утренний крепкий сон. А потом резкое пробуждение от испуга: «Опоздал! Проспал!»

И в самом деле, солнце уже слепит даже через окно.

Быстрее-быстрее кашу поесть. Впереди — длинный день. Но вот уже в окно стучатся друзья:

— Ты идешь?!

— Иду, иду!

Хорошо, что одеваться не надо. Тогдашнего времени летний наряд — сатиновые трусы, длинные, почти до колен. На ходу дожевывая и глотая, дверь не забыть замкнуть и ключ в укромное место спрятать.

И вот уже воля, вдох облегченный: «Успел...»

Трое ли, четверо друзей-одногодков поутру собирались. Двенадцать лет да тринад-

цать. Шестой класс да седьмой. Счастливые дни каникул. Свобода и жаркий июль. Долгий день в Сталинграде — городе южном, на берегу Волги.

Вот она — добрая река-матушка под крутым откосом, по которому вниз бегом-бегом, подальше от тесноты городских улиц, домов, жаркого асфальта к лодочным причалам да пристаням, к пароходам да баржам, — словом, к воде. Здесь можно купаться и рыбу ловить, потаясь, без билета, проскользнуть на речной паром и отправиться на другой берег, далекий, где много садов, огородов, а значит, добычи в них; и птичьих гнезд на деревьях, из которых можно яйца достать и поджарить их на костре в какой-нибудь черепушке. А можно...

Но сегодня — плоты. Об этом еще с вечера сговорились. Вот они по-сверкивают и желтеют вдали, плывут. Тянут их на толстых канатах два катера-буксира. Получается целый караван тесно увязанных и друг за другом сплоченных пакетов-«гонок» из бревен. Караван просторный: чуть не в половину Волги; и длиннющий: ему конца-края нет. Посреди каравана — рубленный домик или шалаш. Там живут плотогоны весь долгий путь от города Горького до Сталинграда и Астрахани.

Лишней одежды на ребяташках нет. Одни лишь трусы. Голопузое детство. И потому с ходу, с разбегу, один за другим, «торпедой» нырнули или шумной «бомбочкой» с высоким фонтаном брызг и поплыли к медленно идущему каравану. Надо спешить. От берега до плотов на речном фарватере путь немалый. И потому ребята торопятся, плывут во весь дух, вразмах, «саженками». И без отдыха. Но плавать — дело привычное. Выросли на воде, словно головастики-лягушата.

Спешат и успевают ухватиться за бревна и залезть в самом хвосте медленно плывущих плотов.

Теперь можно и отдохнуть, раскинувшись на бревнах, на солнцепеке. Главное — сделано и некуда спешить. Два ли, три часа медленного пути на плотах, словно на могучем корабле, который плывет и плывет.

Речная свежесть, жаркое солнце, запах смолы и корья, а под ногами — немеряная глубь.

Далекий береговой откос, на котором все малое, игрушечное: дома и домики, хрупкий, словно из спичек сложенный, мост через Царицынский овраг и речку, красные букашки-трамвайчики, людской муравейник.

После отдыха для ребят начинается долгий поход по длинному каравану плотов. Здесь нужна осторожность, чтобы не ступить ненароком в незаметный провал между плохо счаленными или за долгий путь ослабевшими связками бревен. Крутнется скользкое мокрое бревно и нога провалится и тут же зажмет ее тяжелый сплот. А то и вовсе можно нырнуть и уже не вынырнуть. Сразу затянет мощное течение под просторный бревенчатый кров. Это — конец.

Потому и запрещают родители — строго-настрога — к плотам даже близко подходить, потому что бывали случаи...

Но всякому возрасту свое. Какая радость и гордость, когда плывешь, словно на огромном крейсере, по просторной воде. По берегам всякая мелкота суетится.купаются. И, конечно, завидуют счастливым, которые мимо них уплывают все дальше и дальше, наверное — до самой Астрахани и до Каспийского моря.

На плотах, кроме незваных гостей-ребятишек, есть еще и хозяева — плотогоны. Их жилье — бревенчатая избушка или просторный шалаш. Туда ребятня и правится. С хозяевами поздороваться. А еще и с надеждой подзакусить.

У плотогонов всегда много вяленой рыбы. Она — на вешалах и в больших плетеных корзинах. Ешь, сколько влезет. Но главное — большой черный котел с остатками ухи или другого хлеба. Хозяева ребятишек, конечно, журят; но без ругни. Наверное, вспоминают свое детство. И кормят всегда до отвала, пока не опустеет котел. Бывает даже, черной икрой угощают, осетровой. Но уха для ребят лучше; она — наваристая, вкусная. Тем более что аппетит нагуляли.

В благодарность хозяевам ребята моют и оттирают от сажи котел до блеска. А потом отдыхают, купаются, прыгая с плотов. Можно и подремать на теплых бревнах, набираясь сил.

Время есть. Считай, полдня на плотках плывешь до самых заводов: Шпалопропитка да Мачтовый, где плоты чалятся к берегу для разборки.

Там — новые приключения. Волжский берег высокий, крутой. Бревна к заводам наверх поднимают цепные транспортеры-«бревнотаски» с острыми штырями, на которые, еще в воде, рабочие насаживают бревна, одно за другим. И вот они поползли, поехали вверх, на кручу. И ловкие ребятишки поехали, оседлав бревна. Вперед и вверх, словно в атаку, пошла веселая конница с гиканьем и свистом, успевай лишь пере скакивать с одного транспортера на другой, да острых штырей остерегаясь. Да еще охранников, которые ребятню гоняют. Но это дело привычное.

А наверху — железнодорожная станция, откуда до города, до самого центра ходит невеликий поезд из трех пассажирских вагонов со скамейками и одного товарного, в котором возят коров, коз, домашнюю птицу в клетках и прочий скарб. Туда ребятня и забирается, подальше от контролеров.

В три часа дня отправление. Дымит впереди неторопливый паровоз по прозвищу «Овечка».

На станции Елшанка он долго стоит, отдыхает, углем заправляется и водой. И лишь тогда пыхтит дальше, все с той же скоростью, порой черепашьей, особенно на подъеме, у Лапшина сада, где справа — яблоки с грушами, а слева — бахчи с арбузами. Там ребятишки два-три арбуза успевают сорвать и тут же съесть их, в своем просторном вагоне.

К центру города всегда прибывают по расписанию, успевая домой добраться до прихода родителей.

На этом кончался день, чтобы завтра снова начаться в таких же или других приключениях жарким летом на берегах Волги...

Такое вот было детство. Правда, не мое. А одного из моих нынешних спутников по долгим, порой, вечерним прогулкам в месте приглядном, на высоком берегу Волги. Память лет прежних естественна в нашем стариковском возрасте. Мой спутник — считай, писатель: он написал книгу о своем детстве, юности, своей родословной для внуков и правнуков. Он по архивам лазил, отыскивал документы о дедах да прадедах. И свой жизненный путь обрисовал: работа, учеба, карьера. А вот о детских подвигах поведал лишь нам, спутникам по вечерним прогулкам, решительно отвергнув мое предложение внести эти рассказы в «Родословную». «Нет-нет, — решительно сказал он. — Я же воспитываю внуков, внушаю про хорошее поведение. А если напишу, они скажут, что дед хулиганом был. Нет-нет, про это писать нельзя».

А мне кажется, что внуки бы позавидовали такому детству, совсем непохожему на сегодняшнее.

РАННИМ УТРОМ

Ранним утром по давней привычке люблю я прогуляться, проветриться, помаленьку оживая к новому дню.

Нынче я в Кисловодске. Здесь привольно. От моего жилья по дорожке, зеленым коридором меж сосен да елей или вовсе — глухим тоннелем по малой тропинке, но утренний путь один: к просторному парку, к «храму воздуха», который первым встречает солнце. Он долго стоял в разоренье, этот храм, но теперь, наконец, из руин поднялся: белые стены, высокие колонны, розовые на востоке.

Чуть поодаль от храма — невеликий каменистый мыс, а над обрывом — малый выступ, словно парящий над огромной — глазом не окинуть — земной чашей в окружье далеких и близких горных вершин и хребтов.

Высокое синее небо с редкой белью облаков. Сияющий снежный Эльбрус. Утренняя тишь и негромкие птичьи песни. Воркование горлиц, теньканье синиц, пересвист зябликов ли, щеглов. И, такое в пору, кукушки долгое кукованье: живи, мол, живи и живи.

Горный чистейший воздух. Рядом, подле ног моих, тянутся из провалов маковки и густые кущи деревьев. Светлая молодая зелень дубов, желтые, словно восковые, свечки на лапах сосен, белью облитая цветущая груша, дикая абрикосина в еще липкой молодой листве, боярышник в розовых пухлых бутонах. Дальше и ниже, на проталах полян, на зелени трав — серебро и радужное сиянье непросохших капель росы, солнечный разлив одуванчиков да калужниц.

Сладость цвета и горечь молодой зелени, сосновый, настоящий за ночь, бодрящий дух — все здесь. И потому каждый вдох — наслаждение. Поистине, это — храм воздуха, утренней тишины и покоя. И не только в час нынешний, весенний, но в любую пору.

Осенью, в ненастье, здесь мокро и сыро. Раскисшие тропы и дорожки. В ущельях зыбятся ленивые волны слоистого тумана. Горы, хребты и вершины закрыты низкими тучами. Но простор долины чист и ясен. По темной зелени сосен и елей, словно ручьи да проталины, желтые березовые кущи с нежной белизной стволов, притухшее золото кленов, красноватая ржа дубов.

Весной ли, осенью, в зябком предзимье — все едино: стоишь, замерев, и смотришь. Немереный простор завораживает. Вдыхаешь, вбираешь в себя не только воздух, но нечто иное.

Короткий срок: минута, другая... И вот уже забывается все земное, житейское: годы, труды, заботы, печали. Мягкий, упругий, уже не ветер, но вей — словно неба дыханье — все убрал и утишил, на короткий срок подарив, пусть малые, но мудрость и прозренья, чтобы понять слова вещи: «В мире бе...» В этом мире быть — высшая награда и радость недолгая, потому что наступит срок расставанья.

Но это будет потом. А пока — живи, радуйся. Недаром кукушка вещает и вещает нам долгий век. И не только в этих краях, но и рядом с домом. Надо лишь услышать ее ранним утром.

«КАКИЕ УМНЫЕ!..»

Летний день. Просторное наше подворье. Старинные груши-«черномыски», яблони, вишни да сливы, виноград, ягодные кусты, овощные грядки да цветочные — много всего.

Хозяйничаем понемногу вдвоем, с малым еще тогда внуком Митей, в меру сил и желаний. У меня их уже не больно много. У мальчонки — через край. Мыкается туда да сюда. То в одном краю звенит его голосок, то — в другом.

— Сливы поспели! Сладкие...

— Я нашел твои очки! Ты их на баке забыл!

— Воздушная тревога! Черные жуки на виноград нападают!

Потом — непривычная тишина. Притих и притих. Надо идти глядеть: где он и что...

Но слышу призыв отчаянный:

— Дедушка! Иди скорей! Скорей-скорей! — и дальше взахлеб: — Посмотри, что наши муравьи придумали! Какие умные!

Наши муравьи — это невеликое живое селенье в украве бетонной дорожки, возле кухни. Рядом — старое абрикосовое дерево. Там есть чем поживиться. В свою пору спеют сладкие плоды, мякоть которых муравьи выбирают напрочь, оставляя лишь кожуру да косточки. А еще с весны до осени на листьях того же дерева муравьи разводят зеленых тлей — «коровок», которых непрерывно доят, собирая капли сладкой пади.

С муравьиным семейством давно мы знакомы. Порой наблюдаем, иногда подкармливаем.

Но в день нынешний у малого Мити удивление и восторг:

— Какие они умные! Посмотри, дедушка! Ты не видел! Они другой путь придумали! — внук не на шутку взволнован. — Они теперь не по земле бегут, а по трубе и по проволоке. Вот какие умные!

Пригляделся я и понял Митин восторг: в самом деле ведь умные.

От муравейника, от входов его до подножия абрикосового дерева лежит путь для муравьев немалый и трудный по затравевшей земле. Дорога — не больно торная, хотя они ее и расчищают. А потом — путь наверх, по стволу дерева, по его ухабистому корью. И тогда уже по ветвям и веточкам к зеленым листьям, где пасутся тли. И путь обратный, к дому, с немалым грузом, от которого брюшко раздувается, трудный и долгий. Непростая работа.

Но вот сегодня Митя узрел, а потом и я, разглядев, оценил муравьиный разум.

Оказывается, нынче живая цепочка муравьев к своим угожьям не по земле и не по корявому стволу абрикосины пробиралась, а путем иным.

Под развесистым старым деревом когда-то были вкопаны два железных трубчатых столбика с перекладинами наверху, по краям которых натянуты две проволочные струны. Прежде здесь белье сушили. Один из столбиков — рядом с муравейником.

Муравьи сообразили, что этот столбик и проволочная струна поверху — дорога гладкая, без рытвин и ухабов до самых веток и листьев, которые кое-где касаются проволоки. Разве не удача?

Вот и текут живые цепочки муравьев сначала вверх по металлическому стояку, а потом — проволочный путь, ровный и гладкий до самого конца.

Стояли мы с Митей, глядели, удивляясь муравьиному разуму. Ведь как-то они додумались, поняли...

А минуту спустя еще одно чудо, которое Митя не сразу углядел и понял из-за малого роста. Но я табуретку принес и поднял мальчонку, чтобы он ближе, почти вровень оказался с двумя проволочными струнами, по которым спешили муравьи за добычей и в путь обратный. Митя

смотрел не отрываясь на неустанный бег долго и молча, а потом на меня оглянулся и прошептал вначале как-то даже испуганно.

— Дедушка... Они — такие вежливые. Правила движения соблюдают.

А потом громко и восторженно:

— Они — очень вежливые пешеходы! Ни один не нарушает! Ты видишь, дедушка?!

Митя даже руками всплеснул и чуть было не свалился с табуретки. Я вовремя его подхватил.

— Вижу я, вижу... Очень дисциплинированные.

Вначале Митю, а потом и меня удивила сообразительность муравьев, отыскавших новый, легкий путь от муравейника к пастбищу своих дойных коровок-тлей.

Но теперь и меня, и внука поразило другое.

— Какие они все вежливые. Никто не нарушает!

Муравьи спешили к своей добыче и возвращались с ней тонкими цепочками: один вслед другому. Никто не останавливался и не обгонял. Ровный бег, друг за дружкой, словно черная живая нить, неостановимая. А еще и разумная.

Две проволоки были натянуты по краям перекладин. Расстояние между ними — не больше метра. И это были две полосы муравьиной дороги: правая к дереву, левая — от него, к дому. По правой спешили поджарые, легкие муравьи, без ноши. По левой, так же один за другим, их собратья возвращались домой с добычей: раздувалось их полное пузико, словно крохотная прозрачная цистерна со сладкой падью. У загруженных скорость, конечно, была поменьше.

Но главное: и та, и другая цепочки текли мерно, неостановимо, без каких-либо сбоев. По одной проволоке, друг за другом — к добыче; по другой — с грузом. Безо всяких заторов. Живая нить.

И по круглому столбику, от земли, от своего жилища и снова к нему, муравьи убегали и возвращались в таком же строгом порядке: по правой стороне — наверх, по левой — вниз, с грузом. Один в след другому. Такие же ровные, живые ручьи текли и текли, завораживая.

— Какие они... Дисциплинированные... — уважительно произнес Митя. — Молодцы.

Наглядевшись, мы ушли к другим делам и заботам. Но о муравьях не забыли и в этот же день несколько раз возвращались к ним, снова и снова удивляясь.

— Какие они умные, вежливые... — всякий раз удивлялся Митя. — Дисциплинированные.

Конечно, я соглашался. Но не мог уразуметь... То, что муравьи сумели найти короткий и удобный путь к своим кормовым угольям, еще можно объяснить. Ведь у них, как и у пчел, есть свои разведчики, которые ищут да рыщут, что-то находят и ведут за собой собратьев.

Но вот этот строгий порядок: из муравейника продвигаться только по правой стороне. Сначала — по столбику, потом по проволоке. Только справа. Слово у нас, у людей — правостороннее движение. А обратно, со сладким грузом — по стороне левой. И никаких нарушений: друг за дружкой, не обгоняя и не останавливаясь. Только по своей стороне. Ни единого сбоя. Мы наблюдали долго.

— Дисциплинированные... — в который раз с трудом выговорил Митя слитное, но очень точное слово.

Вот эта самая «дисциплинированность» в голове моей не очень укладывалась.

Мы — люди и вроде разумные. С детства нас учат и учат. Но такой дисциплины, как у этих муравьев, все равно нет. Пешком ли, на машине, когда все вокруг размечено и отмечено. От знаков дорожных в глазах рябит. А еще — светофоры помогают. Их все больше и больше. Камеры следят за машинами и людьми. Но все равно: один заспешит, другой рот разинет, у третьего что-то зачесется, надо остановиться.

У муравьев нет ни знаков дорожных, ни полиции-милиции, ни светофоров.

А движение ровное, неустанное, без толчеи и сбоев. Бегут и бегут, ползут и ползут. По правой стороне — легко и споро, по левой, возвращаясь с грузом, медленно, но без передыха текут и текут друг за дружкой.

Малый внук мой муравьиному порядку подивился; а потом приспели иные заботы. У него, в тогдашнюю пору, всякий день и всякий час — удивленье.

А вот мне, старому, в тот ли, в другой день, в час одинокий, вечерний стало думаться и думаться. О муравьях и не только.

И даже теперь, через долгое время, порою, мне вспоминается тот летний день и малого внука удивленье, а потом восторг: «Какие они умные... Дисциплинированные...» И перед глазами — муравьиная живая нить: одни — по правой стороне, другие — по левой. Бегут и бегут, без усталости, не толпясь и не мешая друг другу. Весь долгий день.

Муравьиное вспоминается, и о людском думается, попохожем, особенно в городской жизни.

Вот ранним утром к нашему городскому девятиэтажному дому подъезжает машина-мусоровоз. Каждый день, точно в срок, без опозданий. А еще раньше, в утренних сумерках, а зимою — во тьме дворник трудится: метет и скребет, баки с мусором вывозит к положенному месту и в положенное время. Женщина-продавец в нашем маленьком магазинчике порою жалуется по вечерам: «Устала... Всю неделю с восьми до восьми...»

По улицам, в магазины, кафе, детские сады, школы, больницы машины везут и везут всякий товар съестной: молочное, хлебное, мясное. И все это — не манна небесная. В далеких от города деревнях и селах, поднимаясь в потемках, работники дважды и трижды в день доят коров, кормят их. На молочный завод, в неблизкий город машины-молоковозы идут. Все это — каждый день, круглый год, без задержки. И хлеб в магазине сам собой не объявится. Прежде надо землю пахать, сеять, растить и холить, убирать зерно, везти на элеватор, на мельницы, на пекарню. А отсюда уж — в магазин. И все это не абы как да когда захотелось, а соблюдая точные сроки и правила: день в день и час в час.

Все выстроено четко, по цепочке, от человека к человеку, без заминки и сбоя. Дисциплинированно.

Разве не муравьиная жизнь?

Вспоминаю свое, давнее, когда трудился на тракторном заводе, где было тридцать тысяч работников.

«Дадим стране двести пятьдесят тракторов в сутки!» — гласил огромный плакат-«растяжка» при входе, на главной заводской аллее.

И послушные этому призыву, текли и текли к заводским проходным людские реки. Первая смена, вторая смена и третья. Все по часам.

Особенно тяжкими были ночные смены летней жаркой порой. Сталинград — город южный. Под сорок градусов пекло на улице. А в цехах,

под раскаленными крышами... А в «литейном», в «чугунке», в «сталефасонке», где пылающие печи, где жидкий металл льется в опоки и формы, где горький и смрадный воздух с трудом пробивается в легкие... А цех кузнечный, где от грохота сотен молотов человечья речь не слышна, и люди уже через год-другой теряют ненужный им слух.

Но всякий день, в положенный срок: утренняя смена, дневная, ночная — текут и текут к заводу, к своим станкам, печам, конвейерам. Тридцать тысяч работников. Дисциплинированных.

«Дадим стране двести пятьдесят тракторов в сутки!»

И каждые пять минут, лязгая гусеницами, уходят с главного сборочного конвейера новые и новые машины.

Так было. Нынче тракторного завода нет. Но муравьиная жизнь продолжается.

Особенно это заметно в больших городах. И очень зримо — в Москве, ранним утром и порою в потемках, когда из многих и многих тысяч многоэтажных домов выходит народ рабочий, служивый, от старых до малых. Вначале по тротуарам текут людские ручьи, сливаясь, толпясь на остановках, куда один за другим поспешают большие автобусы да троллейбусы, забирая и забирая народ. А людские ручьи все текут и текут, не убывая.

Земных путей в эти часы не хватает. В помощь им — станции метро, чьи ненасытные жерла жадно всасывают людское половодье, направляя молчаливые людские потоки в свое подземное сумрачное чрево по эскалаторам да тесным коридорам, сливая их в круговерти и толчее перронов, на которые раз за разом, то справа, то слева обрушивается гул и грохот летящих друг за другом поездов с битком набитыми вагонами.

Вперед и вперед! К работе, службе, учебе! Неостановимо. К назначенному сроку, в назначенное место, без опоздания. Дисциплинированно.

Разве не муравьиная жизнь? Правда, крохотные наши собратья, они мне кажутся помудрее. Но это уже другой разговор.

«ЧАЙ С МОЛОЧКОМ...»

Довольно давно, но в пору уже не советскую, а нынешнюю, пришлось мне быть на каком-то писательском сборище: премию кому-то вручали с невеликой выпивкой и закуской. Работа у нас, литераторов, одинокая, встречаемся редко. И потому, естественно: разговоры, новости, сплетни.

В тот день главной для всех новостью было некое «завещание» еще живого писателя Астафьева, о котором поведал вездесущий говорун, любитель тереться возле людей значительных. Побывал он недавно у старого писателя и, углядев, то ли утянул со стола, то ли «копийку» снял, и теперь на люди вынес так взволновавшие его строки:

— Я пришел в этот мир светлый и добрый... — выразительно повторял он в одном углу и в другом, с восторгом и ужасом округляя глаза. — А ухожу из мира черного, злобного... — с задыхом завершал он, зажмурясь, чтобы понимали: не разделяет он подобных слов и мыслей, пусть и уважаемого человека.

Виктора Петровича Астафьева в ту пору все знали и читали. Он был жив и умирать не собирался. А тут «завещание» да еще такое: «Пришел в мир светлый и добрый...»

По биографии и по книгам знали, что Астафьев рос сиротой, голодал, бродяжничал, еле выжил... Какой уж тут мир «светлый».

«А ухажу из темного, страшного...» Это из дня сегодняшнего, в котором, слава Богу — ни голода, ни войны: девяностые, тяжкие и страшноватые годы были позади.

Так что народ литературный слушал «завещание» с интересом.

Судили, рядили, а вывод один: это — старость. Как говорится, и ситец был раньше крепче, и сахар слаще. С тем и разошлись.

Позднее, уже после смерти Астафьева, не один раз вспоминал я об этом «завещании», вряд ли настоящем. Думаю, что это были строки, написанные, как говорится, под настроение. Но была в них правда, которую понимают не все и не вдруг, а лишь с возрастом, сравнивая по жизни былое и нынешнее, порою вроде по мелочам.

Помню себя малым мальчонкой, лет трех-четырёх. Время военное, тяжкое. Утренний час. Все ушли на работу и в школу. Мы с тетей Нюрой остались вдвоем в тесной хатке-мазанке. Сажусь к столу, пора завтрака. Он всегда одинаковый, этот завтрак: невеликий кусок хлеба и стакан темного, жженой морковью заваренного чая. Медленно ем, порою, хитрю, если тетя Нюра от стола отойдет: хлеб съедаю быстро. И сижу, говорю громко: «Хлеб кончился, а чай остался». Тетя Нюра подходит, смотрит на меня, вздыхает и приносит еще кусочек. Это уже — счастье. Ем медленно, посасывая.

Хлеба у нас мало, это я уже знаю. Его по «карточкам» выдают. Каждому — невеликая пайка: двести ли грамм, двести пятьдесят. На целый день.

Но есть хочется. Потому и цыганю, выпрашивая лишний кусочек, не понимая, откуда берется он.

Понял много позднее. Сама тетя Нюра рассказывала. Она работала землекопом; поливные каналы-«арыки» копали лопатами. «Из дома ухажу и вроде забываю пайку свою, хлебную. Думаю: ладно, перетерплю. Жарко. Работа тяжелая: пять кубов земли — норма. Целый день пью и пью водичку. Так вроде легче. А дома пайка хлеба целая остается, вам на добавку. Тебе да Славику».

Это — былое. А теперь — нынешнее.

Однажды зимой мы возвращались с катка с невеликим тогда еще внуком Митей и его другом Никитой. На улице было холодно. А у ребят жар хоккейного сражения еще не прошел. Они горячо обсуждали забытые шайбы и промахи. В подъезд зашли, а друзья никак не могут договорить. Уже по лестнице поднимались, когда Никита спохватился: ему — в другой подъезд. Митя тоже остановился, сказал мне: «Я сейчас...» Мне вспомнилось как-то сказанное внуком: «Мама гостей не приветствует». И хоть не хозяином я был в этой квартире, но пригласил: «Никита, заходи. Чаю попьете и договорите». Не нравились мне ребячьи сиротские посиделки в подъездах, на лестничных площадках. Пусть «мама не приветствует», а мы, старые люди, по старым законам живем.

Обрадованный внук с удовольствием на кухне хозяйничал: чай заварил; пряники, печенье, мед поставил на стол. Явно нравилось ему быть гостеприимным.

В нынешние тоже годы зашел я с какой-то заботой к своей невестке. Не раздеваясь, в прихожей стоял, разговаривал, а из глубины квартиры услышал голос хозяйкиной матери:

— Пригласи человека. Чаю предложи.

— Это сейчас не модно, — отрезала дочь.

Вот так: «Мама не приветствует», «Не модно».

А ведь времена нынче сытые: хлеба-соли в достатке. Видно, иным бедствуем.

Недавно приезжал родные края проведать мой школьный товарищ.

Встретились. Ходили по улицам и переулкам, где жили когда-то. Вспоминали наше далекое детство: школу, игры, друзей, которых в ту пору было много.

— Здесь Лузиковы жили в землянке: Николай, Петро, Василий.

— Здесь Подольцевы. Вовка, Ленька, Шурка, Николай и девочка. У них тоже отец погиб.

— А здесь Семеновых мазанка...

Я помню эти землянки да мазанки послевоенной поры: лепленные или саманные стены, плетневые да камышовые крыши, глиняные полы, крохотные окошки.

Теперь на их месте иное жилье. Старья не осталось. Редко-редко какой-нибудь флигелек доживает свой век. Возле одного из них приятель мой остановился и сказал задумчиво, со вздохом:

— Калимановы... Они всегда угощали.

Я понял его, потому что не забыл житье тогдашнее: голод, холод и мы, малая детвора.

Желудевые сухие лепешки, которые в горло не лезли, а назавтра от них боль до реву; печеные ракушки-перловицы, вонючие до тошноты, щи из лебеды, каша из вязового листа, топовые да березовые сережки, пока из них пух не полезет.

Спасала, конечно, земля, огороды со скудным поливом. Не хватало воды. Вместо колодцев — глубокие ямы с пологим, круговым спуском. Но что-то выращивали: свеклу да тыкву, капусту да огурцы, но этого всегда внятяг. Долгая зима...

На самодельных ручных мельничках мололи пшеницу, рожь из потаясь собранных на полях колосков. Пекли пышки, щедро разбавляя мучицу теми же толчеными желудями, сушеными лебедой да крапивой.

Жили, конечно, тяжело: к весне люди пухли от голода, умирали. Об этом и вспоминать не хочется.

Но не забыл я и другое, о чем сказал старый товарищ: «Всегда угощали...»

Для всей детворы в ту пору окружные дворы и дома никогда не были под запретом. А если угадаешь к часу обеденному, тебя не прогонят, а позовут к бедному столу с какой-нибудь «затирухой» или «рванцами», скажут: «Похлебай с нами горяченького...» Или угостят куском печеной свеклы ли, тыквы.

Был у меня одноклассник Толя Пономарев. Мама его работала матросом на барже и все лето плавала по Дону вместе с сыном. Зимой они снимали какое-нибудь жилье. У Пономаревых была мука: летом, плавая, на хуторах ее добывали. К Толе я заходил чаще, чем надо. Сами ноги несли. Потому что знал: меня угостят настоящей белой пышкой из муки или пирожком с повидлом.

Все это было. И все это помним до веку.

И теперь я возвращаюсь к Виктору Астафьеву, к его «Завещанию»: «Я пришел в этот мир добрый и светлый, а уйду...» Да, было сиротство. Но рядом — бабушка Катерина Петровна, дед, грубоватые, но добросердечные тетки и просто соседи, — все они сироту жалели. И потому светел мир его бедного детства.

А что до сегодняшнего...

Нынче у всех высокие сплошные заборы. А на воротах замки да засовы, даже днем не войдешь. Приходится стучать, кричать или звонить по телефону. Поначалу я пробовал вразумлять: «Вы от кого белым днем запираетесь?» Мне в ответ: «Ныне всякий народ бродит. По телевизору предупреждают». И потекли страшные истории, из которых вывод один: «гостей не приветствуем», «это сейчас не модно».

Но как радостно хлопотал внук Митя, угощая друга своего и меня. Он все, что мог, на стол выставил и был счастлив: «Мед берите... Он — полезный. Печенье попробуйте... И с молочком надо чай. Это вкусно...»

Слышу: «Чай с молочком...» И сразу приходит в память Забайкалье, Самаринский затон. Митина прапрабабушка Мария Павловна всегда привечала прохожих и невесткам внушала: «Девочки, девочки... Этот человек устал. Он издалека идет. А чайку с молочком попьет и тогда — легкой ногой... Девочки, девочки...» — словно далекое эхо. Теплая волна, которая не позволит забыть светлое детство.

ЦВЕТ В НОЧИ

В марте месяце, на исходе его, началось: «Вирус, вирус... Эпидемия! Пандемия!» Жизнь городская стала замирать: закрывались заводы, большие и малые, школы, торговля, кафе и все прочее.

Народу наказ: «Сидите по домам, меньше выкайтесь». А старикам и вовсе: носа из дома не высовывать. Умолк во дворе детский сад с его веселым гомоном. Кладбищенская тишь все более воцарялась в округе.

Для тех, кто и прежде сиднем в квартире сидел, им затвор — не в тягость: радио шумит, телефон звонит, телевизор кажет, харчи дети да внуки подвозят. Чем не жизнь?

А вот старикам вроде меня, суетливым, привыкшим к утренним да вечерним прогулкам и прочей воле — такому народу новая жизнь показалась несладкой.

Броди от окна к окну, гляди на безлюдные улицу, двор и разом опустевшие дорожки сквера — словом, на замирание жизни. Все это странно и, конечно же, в тягость, а через день-другой и вовсе неумоготу.

Собакам пришлось завидовать. Им разрешили в сквере гулять; и они теперь с утра до вечера там шествовали по-царски важно и свободно. Ни суетливая детвора им не мешала, ни всякого возраста спортсмены да физкультурники: бегуны, ходоки, велосипедисты. Собачья жизнь показалась мне в эту пору привлекательней моей, человечесьей.

Такую судьбу терпел я несколько дней, а потом взбунтовал и решил выходить на прогулку еще до рассвета. Кто меня, старого, там будет ловить...

Мой нетерпеж взыграл еще и потому, что в эту пору в городских дворах, в затишке и на солнечном пригреве, зацветают абрикосовые деревья — моя вечная радость.

Всякий цвет я люблю, но первый по весне абрикосовый — это праздник. Белый кипень на голых еще ветвях, нежный аромат, дневное слепящее сияние в живой гудливой сети золотистых пчел. А ночью, во тьме — молочное облако над темной землей.

Все это было в жизни моей из года в год. И нынче, в последние день-два перед заточеньем, подходил я с проверкой к абрикосовым деревьям, которые в городском нашем дворе росли, и видел белые бутоны и даже два-три цветка возле теплой кирпичной стены. Теперь они зацвели. Без меня.

Такое вытерпеть я не мог и, поднявшись во тьме, еще до рассвета, отправился на прогулку. Первым делом, конечно же, к абрикосовым деревьям.

Еще издали, на подходе углядел я смутную бель, и легкий цветочный запах почуял в яви, а может, в памяти.

Но вот уже рядом просторное облако цвета, раздвинувшее темень. Цветущие ветви, прохладные лепестки коснулись лица моего, обвеяв нежною пряностью, которую я вдохнул раз и другой...

И сразу обрезалось все городское: темные дома, асфальт — все ушло. Осталось лишь это белое, пахучее облако — словно привет издалека.

Вспомнил юность свою, один из дней ее. Весна. Лунная ночь. Наш поселок — в белом плену цветенья, из края в край. Рядом — девушка. В свете луны запрокинутое лицо ее словно белый цветок, абрикосовый ли, вишневый. Лепестковый дух, нежность и сладость. Это — весна, молодость, ее долгая память. А сегодня — старость, да еще карантин, и всего лишь два дерева в тесном городском дворе.

Ранние безлюдные сумерки, темные улицы и дома — мой недолгий час.

В поселке деревья зацветут позднее, обычно спустя неделю. В прежней жизни я всегда за этим следил: зацвели в городе, во дворах абрикосы, значит, пора собираться, чтобы не пропустить цветенья садов: абрикосы, потом алыча, вишня, за ними — груши и яблони, а рядом еще смородина, сливы... Долгий праздник, которого ждешь. Теперь он подступает. И надо вырваться из городского плена.

Но уже на следующий день со мной случилась беда: ногу сломал. В такой же предутренней тьме, на прогулке, поскользнувшись на мраморных ступенях лестницы.

И начался карантин настоящий, с загипсованной ногой, «ходунками» и, конечно, в четырех стенах на шестом этаже. Целый месяц.

На свою квартиру мне жаловаться грех: просторная, уютная, с балконом и, главное, с большим окном, за которым — не городские строения, а невеликий сквер, дальше — синие воды реки, да не абы какой, а Волги; белые песчаные острова, далекий пойменный лес — все это взглядом не окинешь.

Недаром внук Митя, приезжая ко мне, первым делом спешит к этому окну, порой кричит: «Повезло! Теплоход идет!» Конечно, повезло: синие воды, белый теплоход — славная картина. Но вот проковылял я на своих инвалидных «ходунках» день да другой от стены к стене, от окна к другому и стал киснуть. Тем более что на воле понемногу дождало.

Глядел я на дождевые капли и струи, бегущие по оконному стеклу, на мокрые деревья сквера и лужи на асфальте.

Но можно ли утишить голод, листая поваренную книгу с яркими картинками. Где дух свежесваренного борща? Где плоть хлебной горбушки, ее хрусткой корочки и кисловатой мякушки? Где вкус пирожка, нутро, начинка которого будто взрывается во рту терпким ли, сладким соком?

Стихи о любви. Пушкин, Лермонтов, Тютчев — все это лишь волшебный, но отзвук чужой страсти, который твоей душе напомнит и воскресит минуты прошлого; того, что пылало, яростно жгло счастьем и болью душу и тело твоё, любовь познавшее.

Таков и мой нынешний законный пейзаж: дождь в городе.

В далеком детстве, порою летней, когда начинался дождь, старшие выгоняли нас, детвору на волю, с присловьем: «Пускай побанит. Расти будете лучше». И мы всей улицей резвились под светлыми, а то и золотыми

стыми струями. Голяком, босиком, шлепя по теплым лужам: «Дождик, дождик припусти! Дождик, дождик пуще! Просо будет гуще!»

Это был праздник дождя, который принимали всем телом: зрением, слухом, плотью и даже вкусом, открытым ртом лоя пресные капли.

Где-то у меня есть фотография лет молодых. Возвращались мы из похода с ночевкой. Попали под дождь. И, видно, спрятаться было некуда. Промокли до нитки. Двое девчонок, двое ребят. Прилипшая к телам одежда. Мокрые волосы — прядями. Но такие счастливые лица... Потому что под дождь попали. Разве не радость?!

Да и только ли дождь в радость. Тем более что в наших краях он бывает нечасто.

Всякий день возле старого дома нынче, из моего заточенья, видится праздником.

Утренний час, когда летний день просыпается на белой заре в тишине и покое. Светлый месяц — наш сторож ночной — понемногу истаивает, блекнет.

От сна пробудившись, еще на ступенях крыльца полной грудью вдохнешь, а потом еще и еще раз, вздохнув, утренний чистый воздух с горьковатым настоем трав и листы деревьев; а в пору весеннюю — цветущих садов, уличной белой акации или далекой степной маслины. Так сладок бывает утренний воздух после надышанного изыаного тепла.

И первый глоток воды, свежей, прохладной, только что из глубокой земли пришедшей. Детям она — для здоровья, девушкам — для красоты лица.

Первые птицы: сонное чириканье, щебет, пересвист и затихающие, последние трели ночных садовых сверчков.

Утренний, вовсе не ветер, но легкий вей остудит, взбодрит разомлевшее за ночь тело. Косые, красные лучи восходящего солнца щекочут теплыми перстами, когда по садовой дорожке переходишь из тени в свет, свершая неторопливый утренний дозор и на ходу ухватывая, кормясь тем, что спеет да зреет на деревьях да грядках. Горсть алых, еще кисловатых вишен, пупырчатый пресный огурец, пахучий абрикос, упавшее от спелости яблоко — всему укажет свой срок неторопливое лето.

Потом будет день в его привычных делах и заботах. А порою вечерней, когда солнце уйдет, но просторное небо долго светит, а порой полыхает алым да розовым, раздвигая сумерки, в эту пору милая горлица заводит свою нежную колыбельную песнь: «У-у-р... У-у-р...» — негромко повторяет и повторяет она. Нехитрое гнездо ее рядом, на дереве. В свою пору там появляются яички. Их надо долго и неотрывно беречь теплом своего невеликого тела. Потом птенцы... Их надо кормить и кормить. И тоже беречь. Это заботы трудные, долгие, но каждый вечер в густеющих сумерках раздумчиво повторяет горлица: «У-у-у-р... У-у-ур... Все спокойно, все хорошо... Все спокойно. У-у-ур... Уту-у-р...» Это уже не голос птицы, а голос неба: «Прожили день... Слава Богу...»

Так было. Из года в год. И потому ясно видится. Если закрыть глаза. И даже чувствуется. Абрикосовый дух: спелых, налитых соком, золотистых плодов. Яблочный дух...

И нынче весна — пора цветенья. А нам — наказание божие: вирус, карантин. Лишь в окна смотри на опустевшие улицы, где редкие люди в черных да синих масках, перчатках. А из подъехавшей к дому «скорой помощи» и вовсе выходят какие-то «инопланетяне» в скафандрах. Лучше на них не глядеть. А куда еще глядеть? В телевизор? Там с утра до

ночи — тоже: вирус, эпидемия, пандемия, своего мало, так еще и Китай, Италия, Испания... Те же пустые улицы, маски, скафандры, больничные палаты, гибнущие люди, которых уже и хоронить негде. Такую страсть лучше бы не смотреть. Но смотрим и к себе примеряем.

Из поселка звонят мне, порой приезжают. Там тоже сладкого мало. Сначала держались, потом началось.

А вот хуторской народ, слава Богу, не жалуется. У них весна как весна: огороды, грядки, рассада, скворцы прилетели да ласточки. Потом — Троица, сено косят. Даже как-то не верится, что совсем недалеко — другая жизнь.

Звоню на хутор, спрашиваю:

— Как там у вас? Не боитесь?..

— Боимся, — отвечает мой собеседник со смехом. — Страшных снов. — И объясняет: — У меня детвора спасается. Сын из города привез. Уже второй месяц живут. Внучок ныне утром проснулся и говорит: «Я такой страшный сон видел, дедушка. Очень ужасный».

— Либо волки тебе виделись?

— Нет, приснилось, что папа приехал, чтобы нас в город забрать.

— Да-а... — соглашаюсь я. — Конечно, плохой сон.

— Не плохой, а ужасный... — смеется мой собеседник. — Мы только наладились рыбалить. Сазан пошел. Каждое утро ходим на Дон. Три-четыре хороших сазанчика — каждый день. Кроме мелочи. Детвора от радости с ума сходит... Да уже и купают себя. Вода степлилась. А еще грибы пошли. Вроде рано. Но дожди хорошие были. Шампиньоны полезли, дождевки; следом — маслята, даже белый гриб. Внучка такая глазастая. Больше всех набирает. Так что живем. Только вот сны порой снятся ужасные. Как бы папа в город не забрал.

Поговорили, посмеялись. А я потом вспомнил: уже не единожды спросонья мне чудилось нелепое. После долгой ночи, еще в полудреме мелькает мысль: «Может, это просто снилось мне: эпидемия, карантин, маски, прочие ужасы». Такое ведь бывает: привидится страшный сон, кошмарный, в поту просыпаешься и облегченно вздыхаешь: «Слава Богу, это лишь сон».

Вот и теперь порой спросонья вдруг почудится... Но — мгновенье, другое и приходишь в себя со вздохом: «Нет, не сон это, а нынешний день».

Безлюдный двор за окном, пустые дорожки сквера, детская площадка, на которой раньше кипела ребячья жизнь. А ныне — железная ограда да паутина цветных запрещающих лент. Полицейские патрули в черных масках да синих перчатках. Пугающий вой ярко-желтых машин скорой помощи. И сколько все это протянется, знает лишь Бог. Не до конца ли века моего, стариковского, которому отмерян срок.

ЗВЕНЯТ И ЗВЕНЯТ...

Когда-то, теперь уже давным-давно, полетел я в Италию. В московском аэропорту наш рейс ненадолго задержался, и народ улетающий сбился в невеликом зале, у выхода на летное поле. И вот здесь сразу стало понятно: кто — наш человек, а кто — итальянец. У наших в ту пору мобильных телефонов еще не было, а все итальянцы по «мобильникам» трезвонили. Видимо, о задержке рейса.

В Риме, в тамошнем аэропорту, было еще очевиднее: народу — тьма; одни спешат, другие — не очень. Но все, как один, с телефонной трубкой, прижатой к уху. Буквально все, как говорится, на связи. Звонят и звонят.

Обособленно впечатлительный меня малыш в коляске и тоже с «мобильником», в клавиатуру которого он тыкал пальчиком и смеялся.

Мне это запомнилось надолго.

А нынче и у нас не хуже, чем в Риме. У всех мобильные телефоны, айфоны, смартфоны. Говори, слушай, смотри. И все — немереное.

Иногда езжу в свой поселок из города поездом или невеликим автобусом. Полтора ли, два часа в дороге.

Уселись по местам и, считай, все разом уткнулись в свои аппараты. Студенты ли, школьники, взрослый народ и пожилой — все едино. В салоне тишина и покой. Никакой болтовни: дружеской ли, семейной. Однажды бросилась в глаза и запомнилась пара совсем юных молодоженов, которые сидели впереди меня. Их обручальные кольца сияли новизной. За два часа пути эта молодая пара между собой и словом не перекинулась. Только — светящиеся экраны. Какие-то игры в них. Судя по звуковым сигналам. И даже на выходе они доигрывали, не успев закончить.

В городской своей жизни по утрам на прогулке вижу, как родители провожают малых детей в соседнюю школу. И как часто у мамы ли, папы в руке телефон с долгой беседой. Так и идут. Каждый по себе. Порой ученик уже нырнул в калитку школьного двора, а провожатый не сразу спохватится: «Ты где? Ты ушел? Ну, давай...»

Здесь же, на берегу волжском, в сквере, куда детвору приводят для прогулок и забав, всякогомотришься. Молодые мамы чаще всего с телефоном: в простом разговоре, в вацапе, интернете. За детворой лишь присматривают: «Туда не лезь... Брось эту гадость...» — вот и все общенье.

Недавних дней яркая картинка. Пора осенняя. Под кленом — желтый ковер листвы. Невеликий мальчонка сгребает руками листья, целый ворох в охалку набрал и к маме:

— Посмотри, что сейчас будет! Ну, посмотри!

Мама занята горячим телефонным разговором. Сын рядом стоит с охалкой листвы.

— Посмотри, пожалуйста...

Ответа нет. Тогда мальчик подбрасывает свою яркую охалку. Ветер ему помог, желтые листья взлетели высоко. Опускаясь, они кружат и попадают на мамину прическу.

Грозный окрик: «Ты что творишь! Ты что, не понимаешь?»

Да только ли в нашем, городском, невеликом, не больно ухоженном и от летней долгой жары усыхающем сквере...

Кисловодск. Знаменитая «Долина роз». Слева — стройная колоннада высоченных туй. Справа, по склону, таким же зеленым пологом сомкнулись сосны да ели. В их защите, словно в теплых ладонях, рай земной — цветущие розы. Их много и много: щедрое половодье, летний разлив. Желтые, алые, темного бархата с отливом, снежно-белые с вишневым крапом, молочно-кремовые... Королевская «Элизабет», «Остин», «Макси» и «Дольче вита», «Мишка» и «Рождество», красавица «Глория Дей» — многими любимая. Каждое утро она просыпается в новом цвете, словно в новом наряде.

В безветрии нежный аромат цветов вздымается медленно и потихоньку плывет, сливаясь в какое-то райское благоухание, которое чувствуется на губах и, глубже отворяя дыхание, остается в крови, в теле. Порою даже сладко кружится голова. Плывет вокруг цветущее половодье, оживляя дух и плоть, как и положено в земном раю.

«Долина роз» в Кисловодске. Время летнее. Снизу от большой поляны

по дорожке мимо розария идет молодая женщина с дочкой-подростком. У мамы — телефон и разговор энергичный, громкий. В нем — «сценарный план» и «Дуня, которая не в свои дела суется», и «эта сволочь из комитета» и прочее, прочее. У мамы разговор долгий, девочка плетется сзади.

Так они и прошли, миновали «Долину роз». В конце ее девочка вдруг оживела и полезла, словно молодая козочка, по крутому склону, напрямую к смотровой площадке.

Крутой подъем осилить она не смогла, заскользила вниз, набирая скорость, с криком: «Мама!..»

Девочке помогли, прежде чем мама опомнилась. Потом было обычное: «Ты куда полезла?! Ты что, не понимаешь?! С тобой невозможно...»

«Долина роз» осталась позади в летнем душистом мареве и радужном многоцветье.

Утро сегодняшнее, уже осеннее, в том же Кисловодске, в верхнем парке его. Проснулся я поздно и вышел на прогулку, когда основной народ отдыхающий уже схлынул, спеша к завтраку и лечебным процедурам. Сосновая аллея была пустынна, тиха, жилили ее лишь редкие птичьи голоса.

Но где-то впереди, за поворотом услышал я звонкое детское щебетанье. Голоса звенели и звенели, в чистом утреннем воздухе.

Шагая не больно спешно, я все же стал нагонять этих редких по утреннему времени говорунов. И скоро увидел их впереди себя. Эта была семейная троица: мама и два малых мальчика. Они дружно шагали, держась за мамыны руки. Малыши говорили без умолку, вторя друг другу.

— А белка еще спит?

— Проснулась. Она сейчас завтракает. Сосновыми шишками.

— А мы будем синичек кормить?

— Конечно. Они нас ждут. Мы же семечек взяли.

— Я люблю синичек.

— И я люблю.

Дятел остановил их, его звонкая дробь.

— А у дятла нос не болит? Он носом все время колотит и колотит.

— У него нос — твердый. Как твои зубки. Они же не болят, когда ты хрумкаешь и хрумкаешь.

— Он — хрумка!

— И ты тоже — хрумка!

— Вы вместе — мои хрумки...

У них много было вопросов, у этих трехлетних говорунов. Они порой перебивали друг друга, но молодая мама их слышала и отвечала спокойно, голоса не повышая. Порою они прерывали поход, собирая сосновые и еловые шишки и тут же разбрасывая их. А потом продолжали путь.

Я обогнал эту милую троицу, которая вежливо расступилась и хором со мной поздоровалась, в три голоса. А потом они пошли по серпантину дорожки вверх, видимо, к знаменитой площадке Красное солнышко. Там хорошо, особенно в утренний тихий час.

Они ушли, но под сводами высоких сосен да елей долго слышались их голоса. Два звонких мальчишеских, вперебив и порою взмахивая, и спокойный, воркующий мамин, которой, слава Богу, не нужны были сейчас никакие айфоны да смартфоны, но лишь эти два теплых воробышка, которых она долго носила у сердца и терпеливо ждала, чтобы их увидеть, услышать. И наконец, дождалась. Вот они рядом топают и звенят, и звенят...